1 ФЕВ 1983

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА
г. Москва

8

ЧУВСТВО РОДИНЫ — ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА

ТАК УТВЕРЖДАЛ МИХАИЛ ПРИШВИН

Новые поколения входят в жизнь, и для каждого — неувядаемо молодым звучит слово Михаила Пришвина, одного из замечательнейших русских писателей XX века. Малыш, едва научившись по складам разбирать книжные строки, открывает для себя чудесный, полный света и звонких голосов мир. Подросток, завороженный бесхитростным, но удивительно поэтическим сказом, мысленно устремляется вслед за автором в родную природу, все больше заражаясь его любовью к ней, все глубже вникая в смысл окружающих предметов и явлений. Ум и сердце юноши, девушки внемлют мыслям мудрого и доброго наставника. Взрослый человек обнаруживает в пришвинской прозе красоту и силу философских истин, ответы на многие волнующие каждого в зрелую пору вопросы. И что характерно: все вышедшее из-под пера Пришвина — веселый ли рассказ-малютка или серьезный роман, этнографический ли очерк или дневниковая запись — все, едва появившись на печатных страницах, мгновенно привлекает к себе внимание самых широких читательских кругов. В этом живом, доброжелательном и растущем интересе наших современников к писателю, являвшемуся невольно звеном между литературными мирами исторически противоположных эпох, заметна определенная тенденция. Она «запрограммирована» самим его наследием: чем дальше время относит нас от автора, тем ближе, понятнее, а главное, необходимее оказывается сотворенное им. Происходит же это оттого, что художник, живший страстями и идеалами века, всем своим существом был устремлен к созиданию Нового Дома, к той великой стройке, на которой трудимся все мы, весь наш народ, вдохновленный высшими целями человечества. «Не в поэзии, не в искусстве дело, даже не в личности,— писал Михаил Михайлович,— а все в народе, в нации, в социализме, в новой грядущей жизни всего человека»; «чувство Родины в моем опыте есть основа творчества». Его поэтическая проза была актом новых человеческих отношений.

— Вы ничего не оставили?..— спросила Валерия Дмитриевна, когда я уже был в дверях.

Моя мгновенная озабоченность — невольная реакция на неожиданный вопрос— в свою очередь выдала в ее взгляде таящееся лукавство.

— А сердце?

Внезапный поворот мысли словно осветил сознание. Как тут было не рассмеяться? И как-то особенно легко стало на душе.

— Оставил!.. Навсегда!

Это было в одно из первых моих посещений квартиры в Лаврушинском переулке. На дверях поблескивала латунная пластинка с надписью: «Михаил Михайлович Пришвин».

Но вот и хозяйки не стало. Мы не властны над временем. Поток его неотвратим. Однако добрая память неистребима, а боль утраты живуча. И мне все кажется, что на мой звонок вновь выглянет знакомое, ставшее близким лицо. «Здесь любая живая душа, едва взглянув, не могла не остаться навсегда». Это слова волгоградского шофера, человека сложной, противоречивой судьбы, сделавшей его особенно вдумчивым при взгляде на окружающее. Валерия Дмитриевна, вдова писателя-классика, как будто не делала к тому никаких усилий. Напротив, все годы после смерти Пришвина была столь озабочена приведением в порядок архива мужа, систематизацией его наследия, подготовкой к печати рукописей, хлопотами с издательскими, подчас весьма назойливыми, делами — словом, интенсивной, целеустремленной работой, исключавшей какую-либо трату внимания на «внешнюю» жизнь (личное хозяйство, заботы о себе),— что неловко было тревожить ее по пустякам, отвлекать досужими разговорами, беспокоить поверхностными вопросами. Случалось, если беседа нечаянно обретала праздный характер, мягко говорила: «Не будем тратить время. Давайте-ка послушаем самого Михаила Михайловича». И вот устанавливалась на проигрывателе пластинка, и в кабинете оживал голос художника-мыслителя, философа, мастера поэтической прозы.

— Тем-то и силен был Пришвин, что весь, без остатка, отдавался внутренней работе, не снисходя к слабостям, не разменяваясь на поиски излишнего. Он как бы укреплялся и внутренне освежался в быте и привычках.

Сказанное Валерией Дмитриевной всегда было предельно просто, сжато, а главное— удивительно точно. Точно той точностью, которая характеризует высокое качество мышления. Мало того — из уст Алексея Александровича Суркова, замечательного советского поэта, мне довелось услышать: «Культура ее была завидна, но дело тут не в образованности — для нее характерна была какая-то большая духовная наполненность». Не это ли позволило ей не только подняться в своем творческом сознании до уровня Пришвина, но и явиться первым истинным толкователем глубокой сущности его творчества, суметь по-настоящему открыть его для читательских масс, в сознании которых долгое время писатель оставался лишь «певцом природы».

К сожалению, человеческому сознанию свойственно хорошо усвоить как данное результат, не особенно задумываясь над тем, что же этому результату предшествовало. А предшествовала самоотверженная, подвижническая деятельность, длившаяся добрую четверть века, вызывавшая уважение окружающих — напряженный, систематический труд души на ее нелегком подъеме.

— Мне кажется,— говорила Валерия Дмитриевна,— что после смерти Михаила Михайловича я еще больше полюбила его. Я словно вполне пришла к Пришвину.

Вспоминаю, как, прощаясь перед дальней зарубежной поездкой, я спросил ее: «Что бы вам привезти?»—«Ну, что— разве только оливковую ветвь».— Спокойный голос, невозмутимое выражение лица и где-то в глубине глаз искрящаяся улыбка.

Во мне еще свежо воспоминание о ее напутствии:

— Никогда не теряйте из виду свою вершину и в то же время идите со всеми вместе, не выделяясь. Вот вам запись из дневника молодого Михаила Михайловича: «...Самое счастливое, самое высокое было, что я стал со своими друзьями одно существо...». Слова относятся к поре его участия в революционной работе. Это чувство жило в нем до старости. Он говорил о нем по-разному. Теме всечеловеческого единства посвятил свою «Осудареву дорогу»... И помните, что все в мире создано вниманием и терпением.

Многие, очень многие, подобно мне, получали здесь невольные уроки высокой нравственной школы. В них не было назиданий, был прежде всего непосредственный пример. И был совет старшего человека, тоже непосредственный, только уже несколько в другом смысле — без размышления следующий внутреннему влечению, основанному на «родственном внимании».

Последнее выражение принадлежит Пришвину. Преодоление внешней отчужденности и обретение внутреннего родства — вот что, по Пришвину, означает родственное внимание к миру. И писать он стремился так, чтобы обратить родное слово в ту музыку, что слышится в речи простых людей на полях и в лесах, на улицах и у простых деревенских колодцев, «творить и осуществлять сказку по правде», быть благодарным жизни за **любые** ее дары, открываемые в повседневности.

Все для него было ценно в ней, все было живо и имело свое лицо. «Мы можем войти так в природу, что возле муравейника скажем имя знакомого муравья, и тот муравей отложит на минуточку дела и выбежит поздороваться». Какая же мудрая сила заключена в этих словах, несущих одновременно и художественный образ, и большой философский смысл!

— И юмор Михаила Михайловича,— говорила Валерия Дмитриевна — это улыбка сочувствия, это рука друга, это голос надежды... И личное счастье он понимал как общение с другом по духу, и любовь — как «радость о бытии другого»... Человек тем только и человек, что до него доходит весть о чужом существовании, весть о том, что каждый связан с каждым, что он ко всему без исключения со-отнесен. Эта **весть** и есть наша человеческая совесть: так названо и освящено веками и поколениями родное, прекрасное, точное слово.

В записях Пришвина находим раздумья о том, что, может быть, самое главное в его творчестве — это упрямая, «несмотря ни на что», радость жизни или сила жизни, перемогающая пошлость: «И все творчество в указании: указываю, глядите туда — там вечная радость». Убеленный сединами, он оставался ребенком, с неистощимым удивлением всматривающимся в «таинственный» мир, обнимая его со всех сторон «чувством мысли», утверждая его многообразие, индивидуальность, неповторимость во всех проявлениях и вместе с тем — его единство, всеобщность его связей. Исследователи, обнаруживая в Пришвине эту изумительную цельность мироощущения, поражаются и радуются ей.

«Жить и любить,— писал, он,— это значит все вновь и вновь делать в ближнем открытия...» И еще: «Любить жизнь — значит забывать все плохое («переживать») и удерживать все хорошее».

— Он целиком был **одержим** своим призванием, его **несло** куда-то, он летел и напряженно искал что-то насущнейшее... И на склоне лет своих в своем устроенном доме — в своей душе — открывает нечто простое и крепко-устойчивое, требующее лишь одного: собственной самоотверженной отданности встреченному человеку — вниманию!.. И каждая вещь им одушевлялась, входила в круг его личности — в мир, в котором он жил, в мир поэзии. Михаил Михайлович утверждал, что само чувство гармонии в душе человека вышло из благодарности... Всякое дело на свете, говорил он, должно быть делом любви.

А любящим глазам, думалось мне при этих словах, открывается красота, которая светит всем, да только не все ее замечают. И лишь силой родственного внимания мы способны ее постигать.

Леонид ГОЛОВАНОВ.